

*Елена Стяжкина (Донецк)*

## **«ОТЦЫ И ДЕТИ»: ЛЕГИТИМНЫЕ ПРОЕКТЫ МУЖСКОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ**

Процесс создания советского общества, прочитанный как вариант модернизации, в антропологическом смысле базировался на разрушении традиционных структур. Разрушение это было системным, беспощадным, трагическим и, в первую очередь, затронуло фундаментальные основы жизни человека – его жизнь в семье. «Агентом влияния» в новой семейной идеологии государство выбрало и назначило женщину. Решение «женского вопроса» через вовлечение работниц и крестьянок в политические и управленческие структуры, расширение сферы женской социальности через рынок труда, систему образования должно было нанести удар по патриархальным семейным традициям. Эманципация женщины в условиях советской модернизации стала одним из факторов изменения семейных сценариев. Женское было определено и использовано государством как политическое. А мужское? Как определялось мужское в сценариях создания новой семьи? Существовал ли «мужской семейный проект», проект легитимный, идеологически выверенный и направленный на разрушение традиционных структур?

«Сын за отца не отвечает» – это известная формула «нашего советского новоязя»<sup>1</sup>,звученная И. Сталиным 1 декабря 1935 года на совещании передовых комбайнеров. Когда молодой башкирский колхозник в своём выступлении заявил под аплодисменты зала: «Хотя я и сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян и за построение социализма», – Сталин произнес: «Сын за отца не отвечает».

Реплика И. Сталина превратилась в «указание» и в «формулу» государственно одобряемых отношений «отцов» и «сыновей».

Вполне изученным и проанализированным<sup>2</sup> является манипулятивное содержание этой формулы, которая, с одной стороны, как будто, означала великодушное прощение для всех детей «бывших людей» (*«Пять этих слов, что возвещали / Проклятию тяжкому конец»*<sup>3</sup>), с другой – ничуть не помешала принятию «Оперативного приказа народного комиссара внутренних дел № 00486 от 15 августа 1937 года, в котором подробно излагались «основы государственной семейной политики относительно жен и детей «осужденных изменников Родины»: «Аресту подлежат жены, состоявшие в юридическом или фактическом браке с осужденным в момент его ареста... Жены осужденных изменников Родине подлежат заключению в лагеря на сроки... не менее 5–8 лет...

При производстве ареста жен осужденных дети у них изымаются и... в сопровождении специально наряженных в состав группы, производящей арест, сотрудника или сотрудницы НКВД отвозятся: а) дети до 3-летнего возраста — в детские дома и ясли Наркомздравов; б) дети от 3-х до 15-летнего возраста — в приемно-распределительные пункты; в) социально опасные дети старше 15-летнего возраста — в специально-предназначенные для них помещения... Социально опасные дети..., в зависимости от их возраста, степени опасности и возможностей исправления, подлежат заключению в лагеря или исправительно-трудовые колонии НКВД или водворению в детские дома особого режима Наркомпросов республик...»<sup>4</sup>.

Формула «сын за отца не отвечает», появившаяся в момент «великого отката»<sup>5</sup> (Н. Тимашев), в период отказа от либеральных «антисемейных стратегий» 20-х, не была «возвращением к пройденному». Она фиксировала процесс «огосударствления семьи» на основе нового, по сути, религиозного культа. Б. Сарнов обращает внимание на вербальную (но не сущностную) схожесть реплики И. Сталина с известной формулой Христа, записанной в Евангелии от Матфея: *«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня...»*.

Между тем, сталинская формула (указание, правило, оговорка?) имеет и иные возможности прочтения в контексте революционного и советского конструирования мужских семейных сценариев. Особенно плодотворным это прочтение может быть, по нашему мнению, в части личных и политических мотиваций, формирования нового символического языка и легитимирующих проектов «советской мужской жизни» в 1920–30-е годы. Реализация этих возможностей прочтения и есть основная цель данной статьи.

Источники, с помощью которых мы попытаемся проанализировать формирование мужских семейных сценариев, разнообразны: это законодательные акты, отчеты исполнительных органов власти, статистические материалы, статьи в периодической печати, художественные тексты. Поиски очевидного и скрытого вербально символизма определили следующие подходы к включению источников в текст статьи. Это, во-первых, сохранение стилистики, орфографии, пунктуации используемых документов. Во-вторых, «двуязычие» источников и, в-третьих, сознательный выбор русского языка для написания статьи. Это требует пояснений. Русский (точнее, «русский бюрократический») язык постепенно становился сакральным языком советской эпохи, языком создания прецедентных текстов, анекдотов, бытового политического языка. Согласно гипотезе о лингвистической относительности Э. Сепира-Б. Уорфа<sup>6</sup> некоторые речевые конструкции не могут быть переведены на другие языки без определенной потери смысла. Это замечание соотносится с прецедентными текстами

советской эпохи и, в частности, со сталинской формулой «сын за отца не отвечает». Так, при переводе на украинский язык эта фраза будет звучать «син за батька не відповідає». Однако при этом переводе утрачивается сакральная нагрузка слова «отець». При ином варианте, сохраняющем сакральную нагрузку («син за отця не відповідає») может быть утерян привычный, семейный смысл конструкции.

Между тем, понимание многозначности кодированных «заклинаний» советской эпохи остается актуальной задачей исследователя. И в этой многозначности фраза «сын за отца не отвечает» может быть прочитана как формула личной легитимации революционной и номенклатурной элиты.

Доминирующим типом личности в социо-культурной и политической составляющей первых десятилетий советской власти стал представитель «большевистской элиты» (в максимально широком антропологическом понимании этого термина – от революционеров до «новых управленцев» – представителей номенклатуры в центре и на местах). А. Копылов называет этих людей «политическими лиминалами», М. Восленский – «классом деклассированных». И то, и другое определение сущностно верны.

«Большевистская элита» – это результат первых этапов модернизации, которые начались в Российской империи в девятнадцатом столетии и ускорились революционными событиями 1917–1920 гг. «Разрыв с прошлым», не желание следовать родительскому (в значительной степени – крестьянскому) сценарию бытия, жажда изменений (часто – без четкого понимания, каких именно изменений) – это характерные черты создания новой социальной общности, которая стала и результатом, и фактором социальных изменений.

Европейская модернизация, которая началась на полтора-два столетия раньше, точно также «разбудила» определенную часть общества и превратила бывших крестьян, горожан, дворян в купцов, банкиров, пиратов, солдат, ученых, путешественников, и, конечно, революционеров. Представители будущей «большевистской элиты» точно также, как их европейские предшественники, хотели «выскочить» из ситуации «предназначения и судьбы»<sup>7</sup> и заменить ее ситуацией «жизненного призыва». Преодоление ситуации «предназначения» начиналось с «преодоления географии» – с разрыва с местом рождения и «преодолением семьи» – разрывом с тем кругом, который предлагал и диктовал Традицию.

«Правильность» разрушения патриархальных семейных ценностей была «освящена» в литературных процессах: великая русская литература XIX века «усомнилась» в необходимости следования сценарию «отцов» и через акцентированное отсутствие «отцов», «старших», «семьи»

создала образ революционеров-«сирот» («безотцовщин», «брошенных или ушедших детей», «отцеубийц»). Украинский литературный Модерн предложил несколько иной сценарий «отказа от родителей». Акцентированной в нем была десакрализация образа матери<sup>8</sup>.

Несмотря на объективность процессов, связанных с разрушением патриархального уклада, только литературного проекта для легитимации «семейного разрыва» было недостаточно, недостаточно было и широкой пропагандистской кампании, развернувшейся в «борьбе за новый быт» в 1920-е годы. Вероятно, травма, полученная и получаемая в результате «отречения от отцов», была значительно более серьезной, чем это представлялось и самим «отказникам»-«революционерам», и исследователям, что занимались этими проблемами<sup>9</sup>. Легитимизация разрыва требовала постоянных практических действий. Причем, не только в центре, но и на местах. И не только и не столько для отчета, сколько, вероятно, для личного «излечения». Известно, что многие кампании советской власти на местах тормозились и «растворялись» тактиками местного бюрократического сопротивления: саботажем, дезертирством, приписками. Но – не антисемейная кампания. «Большевистская элита на местах» была, вероятно, не менее, а, возможно, и более травмирована собственными разрывами с прошлым и, в первую очередь, с традиционной социальностью. Процесс создания «номенклатуры» в провинциях расширял круг революционеров за счет «письмоводов» и «секретарей», т.е. тех людей, которые выбрали не революцию, а власть, участие в *любой власти как таковой*. (Этот выбор был сделан как выбор профессии до революции 1917 года и зафиксирован в анкетах новых управленцев). Приспособленчество «новых людей», их желание и способность получить всевозможные преференции от участия во власти, однако не означали отсутствия «травмы разрыва с прошлым». Чем более низким был уровень власти и чем большей была «укорененность», известность «нового управленца» среди живущих рядом людей, тем большей была необходимость доказывать себе и другим правильность своего выбора. «Предатель» плохо выглядит в одиночестве, в толпе «предателей» рождается норма.

Показательные процессы «отречения от отца» начались не с Павлика Морозова. Уже в первой половине 1920-х годов «за воспитание родителей» взялись юные пионеры, комсомольцы, студенты, молодые рабочие. «Перед пионерами стоит важная задача «революционизировать» семью, внести в нее крохи нового быта и эхо окружающих событий. Пионеры, как наиболее прогрессивная часть детей, должны перевоспитать своих темных родителей<sup>10</sup>.

Во второй половине 20-х годов «перевоспитание» превратилось в практическое отречение. «Сакральных актов» отречения было также

много, как и анонимных «героических отказов». Одной из самых громких историй в Донбассе было письмо Кирилла Колодуба, сына одного из обвиняемых по «Шахтинскому делу» инженера Андрея Колодуба, опубликованное в 1928 году в газетах «Молот» «Сын Андрея Колодуба требует сурового наказания для отца-вредителя» и «Красный шахтер» «Считаю позорным носить имя Колодуба»: «Являясь сыном одного из заговорщиков, Колодуба Андрея и будучи комсомольцем и активным строителем социализма в нашей стране, я не могу спокойно отнестись к предательской деятельности своего отца и других преступников... Зная всегда своего отца как ярого врага и ненавистника рабочих, присоединяю свой голос к требованиям всех трудящихся жестоко наказать контрреволюционеров. Не имея семейной связи с Колодубом уже около двух лет и считая позорным носить дальше фамилию Колодуба, я менять её на фамилию Шацкий. Рабочий шахты «Пролетарская Диктатура» Кирилл Колодуб»<sup>11</sup>.

Менее громкие истории печатались с 1929 года в газетах под специальной рубрикой «Отрекаемся от отцов».

Анонимные, но статистически учтенные, герои – пионеры и комсомольцы – стали участниками многих кампаний, квинтэссенцией которых было отречение и разрыв с прошлым. Наиболее массовыми и трагическими среди них, вероятно, были хлебозаготовительные. Осуществляя государственную программу, «дети Страны Советов» изымали излишки хлеба у собственных родителей. Участие пионеров Луганского округа в хлебозаготовительной кампании 1929 года было отмечено следующими достижениями: «В Сорокинському районі на хут. Сорокино була переведена демонстрація Ю.П. з гаслами: «Батьки дадуть лишки хліба Державі». На хут. В. Дуванному під проводом комсомольської організації з участю Ю.П. було організовано колективний вивіз хлібних лишків (вивезено 700 пудів хліба). В Ровенецькому районі – в Бірюкові піонери виявили держателів хліба по 200-210 пудів. Передали про це до посилкової ради, яка оголосила бойкот цим селянам»<sup>12</sup>.

От отцов и матерей отрекались даже через некрологи<sup>13</sup>. «Разрыв с родителями» был важной темой художественных произведений 1920-х годов.

Советское жизненное пространство не делилось на приватное и публичное. Посредством «процессов символизации» «обычные частные действия» оказывались связанными с «отдаленными социальными объектами»<sup>14</sup>. Через легитимацию личной травмы большевистской номенклатуры личное становилось политическим.

Следует признать, что легитимация семейных разрывов упрощалась в связи с двумя моментами. Во-первых, в связи с традиционной

авторитарностью отношений в крестьянской семье<sup>15</sup>. Распространенная практика телесных наказаний, запретов, жесткость и жестокость родительского поведения могли вызывать и вызывали протесты детей, «искушаемых» предложенной от имени советской власти защитой.

Во-вторых, социальное признание разрыва как нормы было связано с изменениями возрастной структуры населения страны, в которой стали преобладать группы детей, подростков и молодежи. Согласно данным переписи 1897 года 44,9% населения империи были моложе 20 лет<sup>16</sup>. Согласно данным переписи 1926 года моложе 20 лет было 48,7% населения, в возрасте до 25 лет находилось 58% населения<sup>17</sup>. Детство, отрочество и юность – это время личных революций, радикальных, однозначных и простых решений, это время бескомпромиссности, отрицания прошлого и «борьбы с родителями» как вполне закономерного этапа взросления. Представители большевистской власти в определенном смысле не вышли из ситуации подросткового протesta. А, зафиксировавшись в ней, выработали и распространяли «невзрослый» (детский, подростковый, юношеский) язык пропаганды и агитации, который был и востребованным и понятным для страны, 58% населения которой было моложе 25 лет.

*Формула «сын за отца не отвечает» в этом контексте может быть рассмотрена как фиксация новой государственной языковой нормы – «мужского невзрослого языка».*

Этот язык не был абсолютной большевистской новацией, в широком смысле это была реконструкция российской монархической идеологии патернализма (царь-батюшка, народ-детушки). Однако именно мужское в языке пропаганды акцентировалось как «невзрослое» (или как невозможное для взросления). Это утверждение требует дополнительного изучения разными методами. Интересные результаты дает метод контент-анализа называния мужского и женского на страницах советских газет. Верbalные конструкции советского языка по отношению к мужчине теми или иными способами фиксировали «не взрослость»: «молодой рабочий» (но не «молодые работницы»), «молодые новаторы», «молодые стахановцы», «комсомольцы», «юноши» («юноши и девушки Страны Советов – практически единственная формула, фиксирующая молодость женщины»). Призывы и лозунги Советской власти по отношению к женщине фиксировали пол, профессию и, реже, партийность: «женщины», «ткачики», «домохозяйки», «крестьянки», «большевичка».

Советский язык (как язык модернизационного проекта) предлагал мужскому миру бесконечное количество «игр»-кампаний: «месячники помоши красноармейцам», «неделя атеиста», «займы индустриализации», «сдача норм ГТО», «Ворошиловский стрелок» и т.п. Через эти «игры»-кампании «невзрослый мужчина» вступал в отношения с государством,

его жизнь превращалась в государственный «донорский проект». Мужскую жизнь предлагалось «сдать» во имя революции, во имя «великих строек пятилетки», во имя «товарища Сталина», во имя «победы социализма», во имя «будущего детей».

Участие в «игре» предполагало знание ее ритуалов, обрядов, клятв и прочих правил. Призыв к участию транслировался как призыв к служению. И в конечном итоге, в том числе и через языковые практики, трансформировался в государственно-патерналистские ценностные ориентации «настоящего мужчины».

М. Эпштейн рассматривает советскую цивилизацию как проект реализации Эдипова комплекса – через убийство Небесного Отца и овладение матерью-природой. «Культ материи, или материнско-земного начала, в противоположность Отцовско-небесному — это, по сути, даже не философия, а мифология, в которой подсознательные желания выходят наружу и сбываются в формах коллективных фантазий»<sup>18</sup>. В рассуждениях в рамках обозначенной М. Эпштейном логики можно увидеть и иные возможности прочтения. Можно, например, предположить, что, культивируя материализм, советское государство воплощало функции природы. «В английском языке, — отмечают С.А. Арутюнов и С.И. Рыжакова, — есть термин *expendable* — «то, что не жалко тратить, выбрасывать»... Природа предпочитает «тратить» мужчин, ей их не жалко. ... При пониженнной доле мужчин в сообществе их все равно хватит для нормального воспроизводства населения, в то время как потеря даже одной женщины ничем не восполнима»<sup>19</sup>. Возможна и иная трактовка: маркируя мужское как «не взрослое», советское государство транслировало архаическое крестьянское восприятие детской смерти «Бог дал, Бог взял». Формирование мужского как «донорского государственного проекта» снижало ценность мужской жизни, мужской личности, любого мужского выбора, сделанного не в пользу государства.

Посредством инфантанизации языка и нового советского символизма мужчина, оставаясь «сыном» (Отчизны и товарища Сталина), «кизыпался» из личного и семейного пространства. Примечательны в этом смысле слова автора одного из самых экстремистских социальных проектов конца 1920-х годов Кузьмина, приведенные В. Паперным: «... родители могут видеть своих детей... В известное время они ходят к ним, ласкают их, кормят грудью». В. Паперный комментирует это так: «Уничтожение разницы между мужчинами и женщинами ... достигает, как видим, такой степени, что кормить детей грудью там могут и отец, и мать»<sup>20</sup>. Однако проект Кузьмина может быть прочитан не как «уничтожение разницы», а как зафиксированное изъятие мужского из родительского, семейного. Мужчина и в семейном пространстве

мыслился и проговаривался как донор. Родительские же функции закреплялись исключительно за женщиной.

Интересно, что женское оказалось не включенным в формулу «сын за отца не отвечает» ни в контексте субъекта, ни в контексте объекта отречения. Означало ли это, что за мать сын отвечает?

Вопрос, разумеется, может быть поставлен не в поле трактовок сталинской фразы (как специальной сформулированной или случайно сказанной). Как не может быть поставлен и в поле политического, поскольку известно, что «социально опасные дети» могли быть как у отцов-изменников родины, так и матерей-изменниц. Вопрос может быть поставлен только в поле нового советского символизма. И ответ на него, вероятнее всего, является позитивным. Сын не должен отвечать за отца, но должен – за мать. Во-первых, эта «ответственность» не опасна для революционного обновления общества: женщина в патриархальной крестьянской семье была ориентирована на прагматичный «подъем детей», суровые наказания за «несоблюдение правил» дети получали от отцов («Детей бьют за все больно и часто, оставляя синяки на спине, дети особенно боятся «батьку», «бо він, як ухваче так і не вирвешся от него»)<sup>21</sup>. Во-вторых, сын должен был отвечать за мать, потому что именно в этой плоскости он – сын-мужчина – оставался сыном-ребенком. А это вполне соответствовало общей атмосфере инфантилизации мужского. В-третьих, в пространстве символического ответственность за мать означала служение «Родине-матери», что было крайне важным элементом воспитания «нового советского человека». И, наконец, в-четвертых, постепенное превращение женщины (через систему законов о защите материнства и детства, систему льгот и социальной помощи) – в агента советского государства в приватном пространстве, объявление ее «ответственной за воспитание будущих поколений» делало новую субординацию («мать-сын», а не «отец-сын») необходимым условием конструирования советской семьи.

Женщина, «приведенная» эмансипацией в публичную сферу («большевичка», «член партии», «активистка», «ткачиха», «крестьянка», «учительница»), с благословения Советской власти получила и расширяла властные преимущества в семье.

Советский «резолюционный» и газетный язык, образный – плакатный и литературный – символизм создавали два устойчивых образа: «молодого рабочего» («нового человека») и «женщины» («женщины-работницы-матери»). В таких «сложных» языковых обстоятельствах этим образом трудно было быть «вместе» / «вдвоем». Транслируемая «невзросłość» мужчины, некомпетентность его в приватной сфере легитимизировала роль государства как Отца и, одновременно, как посредника, в конструировании советских семейных сценариев.

«Сын за отца не отвечает»: а отец – за сына? Предполагал ли советский семейный проект 1920–30-х годов возможность «быть отцом» в традиционном патриархальном смысле? Анализ советского символизма позволяет исследователям обнаружить процесс создания образа Сталина как сакрального Отца<sup>22</sup>. («Он войдет – и люди встанут / И «Ура» и «Славу» грянут, / Своего узнав отца. / Это он детей народа / Вновь собрал под эти своды, / В зал Кремлевского дворца»<sup>23</sup>). Признавать «отцовство» Сталина было политической, социальной и даже художественной нормой. Этому «Отцу» было не только позволено, но и предписано отвечать за «сыновей». Но точно также «позволено и предписано» было отвечать за сыновей всем представителямластной пирамиды.

Интересно, что, оказавшись в ловушке собственного разрыва с прошлым, советские руководители (чиновники, хозяйственники, партийцы) повзрослели, обзавелись семьями и столкнулись с возможностью нового отречения. Теперь уже – отречения от них самих. Это было опасно, неприятно и требовало коррекции. Патриархальная модель семьи для представителей власти стала позиционироваться ими самими, с одной стороны, как проекция образа «сакрального отца» на частную жизнь советского управленца. С другой стороны, возможность создания этой патриархальной модели воспринималась как привилегия, сравнимая с номенклатурным распределителем. В семьях представителей власти женский эмансипаторский проект, как правило, не работал. (Документы о чистке 1929 года, проведенной в Донбассе, содержат информацию о «бытовом разложении» местных коммунистов-управленцев, которые «вторым браком женились на «бывших», «устраивались в быту на царскую ногу», «не пускали жен на собрания и на работу» и «разрешали им красить губы и скуповывать товар на рынках», «занимались рукоприкладством», «содержали любовниц»). Для «личного пользования» власть реализовывала классическую патриархальную схему: «мужчина – кормилец, глава семьи», «женщина – домохозяйка, мать».

Общие правила политики советского гендера не распространялись и на социальные группы, входившие в категорию «лишенцев»<sup>24</sup>. Разрешение «быть отцом» присваивалось в семьях представителей власти и «разрешалось по умолчанию» в семьях «бывших людей».

Конструирование мужских семейных сценариев в 1920–30-е годы, его логика, мотивации, язык, подтверждают тезис о неравном распределении плодов патриархата, которое распространялось не только на женщин, но и на мужчин<sup>25</sup>. Поставленный в середине XIX века и будто бы решенный большевиками «женский вопрос» создал политическую и историческую «тень» для проблематизации «мужского вопроса».

Превращая мужчин в то, «что не жалко тратить», советский властный дискурс способствовал легитимации государственного патернализма.

Несмотря на значительные успехи феминологии и гендерной истории, постановка и анализ «мужского вопроса» (в контексте анализа исторической составляющей «подчиненных и гегемонных маскулинностей», «мужчин как жертв патриархата») остаются практически не включенными в современные концепции истории советского периода и требуют дальнейшего изучения.

<sup>1</sup> Сарнов Б. Наш советский новояз. – М., 2005 – С. 559-564.

<sup>2</sup> Фицпатрик Ш. Семейные проблемы / Повседневный сталинизм. Социальная истории Советской России в 30-е годы. – М.: РОССПЕН, 2008. – С. 169-197; Timasheff N. The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia. – N.Y.: Dutton & Co, 1946. – Р. 192-203; Здравомыслова Е. Темкина А. Государственное конструирование гендера в советском обществе // Журнал исследований социальной политики. – 2003. – Т. 1. – № 3–4 и др.

<sup>3</sup> Твардовский А. Рабочие тетради // Знамя. – № 9. – С. 169.

<sup>4</sup> Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий / Верховный Совет РФ. М.: Республика, 1993. – С. 89-93.

<sup>5</sup> Timasheff N. The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia. – N.Y.: Dutton & Co, 1946.

<sup>6</sup> Сепир Э. Избранные труды по языкоznанию и культурологии. – М., 1993; Уорф Б.Л. Грамматические категории // В кн.: Принципы типологического анализа языков различного строя. – М., 1972; Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). – М., 1997.

<sup>7</sup> Козлова Н. Социально-историческая антропология. – М.: Ключ, 1999. – С. 87.

<sup>8</sup> Подробнее об этом: Агеєва В. Матеревбивство й чоловіча інфантильність (Десакралізація образу матері в модерній літературі) / Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму. – Київ: «Факт», 2003. – С. 45-70; Жеребкина И. Насилуя символическим / Женское политическое бессознательное. – СПб: «Алетейя», 2002. – С. 95-125.

<sup>9</sup> А.Б. Залкинд отмечал, что у 90% партийцев зафиксированы неврологические симптомы, гипертония, вялый обмен веществ, он же отмечал, от 40% до 50% студентов-комсомольцев страдают нервными расстройствами. А. Залкинд утверждал, что «корни болезни здесь исключительно социальные (ложная социальная направленность), – и лечение должно быть социальное же (усиленное партийное перевоспитание) // Залкинд А.Б. Очерки культуры революционного времени. – М., 1924; Залкинд А.Б. Революция и молодежь. – М., 1924. – С. 41–43.

<sup>10</sup> Гурарий. Пионеры и семья // Друг детей. – 1925. – № 6. – С. 11-12.

<sup>11</sup> Полина Троцкая – ученица 9 кл. школы №26 г. Шахты Ростовской области (Третье место на Всероссийском конкурсе исследовательских исторических

работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век» считает, что письмо К. Колодуба могло быть сфабрикованным, поскольку в «Молоте» его новая фамилия была обозначена как «Шахтин», а в «Красном шахтере» – Шацкий. Подробнее доступно тут: <http://www.stengazeta.net/article.html?article=5397>

<sup>12</sup> Шамрай. Десятиріччя Луганського комсомолу та комдитрух на Луганщині // Радянська школа. – 1929. – № 2. – С. 16.

<sup>13</sup> Тарас Костров (Александр Мартыновский). Некролог // Известия. – 1930. – 19 сентября: «...Большевиком он стал в момент, когда ощутил пропасть между идейной атмосферой семьи и тем, что он увидел сквозь зарево событий 1917 г., когда на рабочем митинге крикнул по адресу своей матери: "Гнать эту старуху-меньшевичку из рабочих рядов»

<sup>14</sup> Lasswell H. D. Psychopathology and Politics. – New York: The Viking Press, 1960. – Р. 186.

<sup>15</sup> Миронов Б.Н. Семья: нужно ли оглядываться в прошлое? // В человеческом измерении / Под ред. и с предисл. А.Г. Вишневского. М.: Прогресс, 1989. – С. 238-239.

<sup>16</sup> Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. // Под ред. Н.А. Тройницкого. – Т. I. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. – С.-Петербург, 1905. Здесь посчитано по данным электронного журнала Демоскоп: [http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus\\_age\\_97.php](http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_age_97.php)

<sup>17</sup> Всесоюзная перепись населения 1926 года. – М.: Издание ЦСУ Союза ССР, 1928–29. – Том 9. Здесь посчитано по данным электронного журнала Демоскоп: [http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng\\_age\\_26.php](http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_age_26.php)

<sup>18</sup> Эпштейн М. Эдипов комплекс советской цивилизации// Новый мир. – 2006. – №1. Доступно тут: [http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/2006/1/ep7.html](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/1/ep7.html)

<sup>19</sup> Арутюнов С.А., Рыжкова С.И. Культурное моделирование сексуальных отношений //Культурная антропология. – М.: Весь мир, 2004. – С. 166.

<sup>20</sup> Паперный В. Культура Два. – М., 1996. – С. 147.

<sup>21</sup> Отчет об организации пионерского движения в Донецкой губернии в 1923–1924 гг. // Государственный архив Донецкой области. – Ф. Р-10. – Оп. 1. – Д. 48. – Л. 11-13.

<sup>22</sup> Щербинина Н.Г. «Герой» воспетый (Политологический анализ песен о Сталине) // Полис. – 1998. – №6; Она же. Героический миф тоталитарной России. Томск, 1998; Добренко Е. Политэкономия соцреализма. – М., 2007; Сандомирская И. Книга о Родине. Опыт анализа дискурсивных практик. – Wien, 2001.

<sup>23</sup> Песня о Сталине. Избранные стихи советских поэтов. – М.-Л., 1950. – С. 109.

<sup>24</sup> Здравомыслова Е. Темкина А. Государственное конструирование гендерса в советском обществе // Журнал исследований социальной политики. – 2003. – Т. 1. – № 3-4.

<sup>25</sup> Кон. И.Мужские исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся мире // Введение в гендерные исследования. – Ч.1: Учебное пособие / Под ред. И.А. Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб: Алетейя, 2001. – С. 564.